

Русская мысль - Париж -
4-13 нояб. - с. 10-11

«Мы избрали иную дорогу»

Письма Марии Шкапской М.А.Волошину

Окончание. Начало в "РМ" №4146.

Шкапские снова жили в доме Волошина все лето, до сентября. Среди тогдашних гостей были А.Адалис, Анна Антоновская, Андрей Белый, В.Брюсов, Александр и Наталья Габричевские, Андрей Глоба, Леонид Гроссман, Петр Зайцев, Вера Инбер, Е.Ланн, А.П.Остроумова-Лебедева, Валентин Парнах, Сергей Соловьев, А.Соболь, Г.Шенгели, С.Шервинский... Лето 1924 г. оказалось куда более многолюдным, чем минувшее, и, похоже, более веселым.

Его настрою передает, в частности, шуточная анкета кокетельцев, — возможно, составленная именно Шкапской: экземпляр в РГАЛИ написан ее рукой, а главное, среди персонажей нет ее самой. На вопрос о возрасте якобы отвечают Брюсов («*гипердактилический*»), Л.Гроссман («*академический*»), М.Волошина («*воинственный*»), А.Остроумова-Лебедева («*выше среднего*»); на вопрос о поле — М.Волошин («*андрогин*»), М.Волошина («*не без мужского*»), Н.Габричевская («*кавалерист-девица*»), А.Адалис («*ярко-выраженный*»), С.Шервинский («*паркетный*») и т.п. Среди «отвечающих» — еще жена Л.Гроссмана, а среди вопросов — «*род занятий*», «*образование*», «*зачем приехали?*», «*любимый писатель*», «*отношение к Коктебелю*» и т.д., всего 12 пунктов.

Другой шуточный «синодик», составленный анонимным автором, так характеризует кокетельцев 1924 года: «*Максимилиан*» и «*Мария*» — без определения, «*Борис Николаевич*» (А.Белый) — «*огненный ангел*», антропософка Ольга Анненкова — «*древо познания*», художник К.Костенко («*Костич*») — «*брат бенедиктинец*», «*Саша*» Габричевский — «*Эмнедокл*», Л.Гроссман — «*св. Себастиан*», Адалис — «*Adonais infernalis*», Н.Габричевская — «*Фальстаф*», Анна Кораго, Вера Эфрон и Екатерина Сорокина — «*три парки*», Серафима Гроссман — «*курица*», Е.Полонская — «*Mater dolorosa*», Шкапская — «*Mater amorosa*».

Вернувшись в Ленинград, поэтесса 10 октября писала М.Горькому на Капри: «*Дорогой Алексей Максимович <...>, я только что вернулась с юга — из Крыма, с литературной дачи Волошина. Когда-то она принадлежала ему, теперь он предоставил ее в пользование литературной братии и у него собирается ежегодно огромное количество народу — литераторов, художников и артистов. В этом году там прожил целых четыре месяца Андрей Белый, приезжал Брюсов, жили Шенгели, Соболь, Остроумова-Лебедева, Парнах, Тренев, Полонская и др. И все лето шли бои между старым и новым миром, — новое так трудно и так больно дается. И в этом отношении — в смысле защиты — совершенно изумителен был Белый*». (В виду имелся, надо полагать, протест Андрея Белого против чтения Г.Шенгели стихотворения памяти Н.Гумилева, в котором уничижительно упоминался «*вершковский лоб Максима*»: «*Как, так говорят о русском писателе?*»

Нет, я этого не могу допустить!» — «*Но Вы живете в обществе, где поэтов расстреливают*», — парировал Шенгели.)

В письме Волошину от 31 октября 1924 г. Шкапская сообщала новости и вспоминала минувшее лето: «*Так бессмысленно рано и неожиданно погиб Брюсов, а сейчас получила письмо от Ольги Николаевны Анненковой, что покончил с собой Соболь. Не выдержала мятущаяся душа его всех метаний и судорог последних месяцев и ушел самовольно из жизни. <...> У Шенгели очень милая жена — Нина Манухина, поэтесса. <...> Прошлый год в Коктебеле дал мне Фриму, Ирину и Шенгели в добрые друзья, а этот год послал мне таких больших и таких нежных друзей, как Борис Николаевич, и Ольга и Клавдия Николаевны (Анненкова и К.Н.Васильева, жена А.Белого. — В.К.) <...> Ангарский просил Вас предупредить, Макс, что он виделся с Каменевым и что Каменев обещал Вам и Вашему дому всяческую поддержку*». (Волошин воспринял это обещание всерьез — и 3 мая 1925 г. сообщал об этом В.Вересаеву, уповав на «*напоминание через Шкапскую*» Ангарскому: Л.Каменев ничего, разумеется, не сделал.)

Увы, к этому времени в отношении Шкапской к Волошину и к Коктебелю залегла глубокая трещина. Дискредитировать их в ее глазах попытался еще весной 1924 г. Г.Шенгели (во многом — по возрасту, по нацеленности на «современность» — более ей близкий). 17 марта он писал Шкапской из Москвы: «*Вовсе мне не хочется видеть Макса: у него вместо личности пасхальное яйцо, деревянное <...>. Коктебель — пусть остается на потребу невестственным девицам и недамственным дамам вкупе с их пловцами и спортсменами*».

Шкапская кинулась на защиту друга: в письме от 25 апреля Шенгели иронически цитировал ее упреки: «*1) Мы, честные поэты, не могли не сказать Макс... и т.д.*; «*2) Почему Вы в Москве не сказали Макс... и т.д.*». И объяснял: «*Дело в том, что учить Макса — бесполезно. Его сверстники уже разучились писать, он же не научился до сих пор, — до седых волос, подагры и Марьи Степановны. <...> Вы говорите, что в Коктебеле он «все это переварит». Ничего не переварит: нельзя травяное кормить биштексами, нельзя символиста и антропософа, учившегося по гнусным образцам Бодлера и Верхарна, заставить усвоить материалистическую формальную честность Пушкина и современности...*»

Этот выпад, в чем-то совпадавший со взглядами самой Шкапской, видимо, как-то поколебал ее. А летом в Коктебеле было несколько конфликтных ситуаций — в том числе какая-то «*история с ревностью и оскорблениями*». И в письме к Волошину от 31 октября 1924 г. поэтесса признавалась: «*Вообще мне почти в первый раз пришлось жить в таком тесном общении с людьми, и я с ужасом обнаружила, что при совместной жизни даже многие хорошие люди оказываются по-мещански сплетниками. Это, к сожалению, обратная сторона Коктебеля*».

Еще два письма Шкапской были «нейтральны» — затем последовало разминовение.

26 ноября 1924 г. поэтесса извещала Волошиных, что попытка самоубийства Андрея Соболя не удалась: «*кажется, не умрет*». 30 января 1925 г. следует более пространное, но чисто информативное письмо: «*За эту зиму я собрала довольно любопытный архив. <...> Стала сперва записывать, а потом вклеивать разные материалы, относящиеся к литературной жизни, чтобы сохранить «запах эпохи». Все это так мимолетно, так быстро умирает, а между тем воскресить именно аромат эпохи — очень легко иногда мелочью — карточкой (не официального типа), анекдотом, эпиграммой, афишей и т.п. <...> Ахматова подарила афишу об устроенном в Севастополе вечере «памяти Анны Ахматовой»*

<...> Есть Ваши и Митрохинские акварели. <...> Толстой снят с Эрн-буром в нежной позе — а они не здороваются! <...>

Очень хорош «Современник» — уже 4 номер вышел. Замятин и Чуковский очень хорошо развернули журнал. Культурный, свежий, интересный, острый — захватывает все больший круг читателей. (Увы, журнал «Русский современник» — действительно великолепный — подвергался все более жестким обвинениям: в буржуазности, враждебности рабочему классу, контрреволюционности; четвертый номер оказался последним — В.К.)

Материально в этом году всем живется трудно, один Мандельштам переводами, да Чуковский детскими сказками зарабатывают недурно, да, пожалуй, Толстой пьесами. <...> Этого года кокетельцы — Костич, Евреинова — как-то не встречались. <...> Вам писали, верно, каким событием явился для Москвы «Гамлет» с Чеховым? <...> Наезжает к нам в этом году очень часто Винавер. Хороший он человек и как много людей ему обязаны жизнью!» (Михаил Винавер — секретарь Общества помощи политзаключенным, помощник Е.П.Пешковой — в конце концов сам разделил участь тех, кого в 20-х спасал.)

Однако долго кривить душой Шкапская не могла — и 10 марта 1925 г. последовало письмо Волошину, ставившее все точки над і.

Начинала она с печальной новости: «*Две недели тому назад утопилась в Москва-реке сестра Анастасии Николаевны — Александра Ник<о>лаевна Чеботаревская, ее спасли, но она умерла через 3 часа от слабости сердца*».

Затем следует главное: «*Так трудно стало в смысле дороги и вообще денег, что о юге вообще и думать не приходится. И потом я скажу прямо — мне очень дороги воспоминания о первом лете в Коктебеле и я дорожу нашими отношениями, а последнее лето показало, что жить вместе нам трудно и общий язык как-то утерялся, зачем же взаимно огорчать друг друга. <...>*

Вы, Макс, избрали себе одну дорогу — мы — я и другие — совсем иную, и еще пока мы не пытались мешать один другому, — как-то можно было уживаться, а сейчас ясно, что это слишком нас разделяет. Вы отгородились от живой жизни — западно-европейской культурой, кабинетом, мастерской, академичностью и парадоксом, создали себе необитаемый остров из Коктебеля и упрямо ничего не хотите признать, помимо своей линии.

А нам любя и дорога скифская наша жизнь и буйство, нас радуют и волнуют ритмы современности — пусть это даже будет в столь ненавистных Вам газете и трамвае, — мы через всю неприглядность революции — Альдонсы — прозреваем в ней светящую нам Дульцинею, и по мере скромных сил и умения — служим ей.

У Вас же, Макс, найдутся сотни и тысячи людей, кот<орые> радостно примут Ваше гостеприимство и разделят с Вами Вашу жизнь и Ваши интересы. Вы сами всегда радуетесь тому, что Вы нужны такому большому количеству людей, зачем Вам наше присутствие, наш приезд?

Есть очень много людей, глядящих на жизнь Вашими глазами, и им подле Вас всегда будет легко и радостно. А мне хочется сохранить иллюзию нашей дружбы с Вами — такой давней, начавшейся еще в Париже, когда я как девочка глядела Вам в глаза и училась у Вас, что я всегда ценю и помню.

И особенно дорого мне сохранить любовь Маруси — такого необычайного и светлого существа, поставленного жизнью подле Вас. <...> Ваша всем сердцем М.Ш.

В мае 1925 г. Волошин отмечал 30-летие своей литературной деятельности. Среди множества поздравлений пришла 29 мая и телеграмма Шкапской — одна из наиболее лаконичных: «*Вами сердцем сегодня Шкапская*».

И самой последней вестью от нее стала открытка в Коктебель, отправленная из Ленинграда 3 октября 1925 г.: «*Макс и Марусенька, Ильюша*

(Басс. — В.К.) застрелился 28-го сентября. Вы любите оба его — вспомните его добрым словом. М.Шкапская».

Нет сомнения, что Волошин, ценивший любого человека как такового, помимо его убеждений, был огорчен утратой этой дружбы — но вряд ли пытался восстановить отношения.

Встречая новый, 1926 год (по старому стилю), Волошин с женой «старались вспомнить что-нибудь хорошее обо всех «непривившихся» <к Коктебелю> по очереди (Мар<ия> Мих<айловна>, Буткова, Гроссманиха и т.д. и т.п.)» — как поэт сообщал Н. и А. Габричевским в письме от 16 января 1926 г. В письме к ним же от 3 февраля 1926 г., интересуясь их поездкой «в Петербург», Волошин спрашивал: «*Видели ли Шкап-Кая?*» (шутливое кокетельское прозвище, по аналогии с татарскими названиями скал Карадага: Кок-кая, Сюрю-кая, Балады-кая). Новью выезжая в «столицы» в 1927 г., Волошин вписал в путевой блокнот адрес Шкапской (та же Матвеевская, 11, квартира 67) — но встретиться им не довелось...

Любопытно, что в кокетельской библиотеке Волошина сохранились почти все книги М.Шкапской: «Час вечерний. Стихи. (1913—1917)» (Пг.: «Мысль». 1922. 56 с. 1000 экз.), «Барабан Строгого Господина» (Берлин: «Огоньки». 1922. 64 с.) «Кровь-руда» (Пг.—Берлин: «Эпоха». 1922. 30 с.), «Явь. Поэма» (М.—Пг.: «Круг». 1923. 30 с. 3000 экз.), «Земные ремесла» (М.: «Всероссийский союз поэтов». 1925. 31 с. 3000 экз.) — но ни на одной из них нет дарственной надписи!

Нет и самой первой ее книжки — «Mater Dolorosa» (Пг.: «Неопалимая купина». 1921. 36 с.), которую поэтесса безусловно подарила Волошину. Между тем, вряд ли Шкапская стала бы дарить книги такому библиофилу без надписей (а в 1922—1923 гг. ей было что сказать ему дружественное).

Рисунку предположить, что замена книг была произведена самой поэтессой, — приезжавшей в Коктебель после смерти Волошина в 1934, 1936 и 1939 гг. Убедить в необходимости этого вдову поэта ей было по силам, вследствие большой взаимной приязни. (Между прочим, обе они посещали лекции в Петербургском психоневрологическом институте и почти в одно и то же время.)

3 октября 1934 г. Шкапская записала в тетрадке отзывы о Доме поэта: «*Может быть, самое драгоценное, что Макс нашел в своей жизни, — это большое сердце своей жены, которое умеет так любить и так рассказать о нем. М.Шкапская*».

Гадая же о причине такого «изъятия», вспомним, в какой немилости было имя Волошина в 30-е годы; правоверной корреспондентке партийных газет мог почудиться в былых ее излияниях компромат... Показательно, что и письма М.С.Волошиной в архиве Шкапской сохранились начиная лишь с 1938 г. (и по 1951-й). А писем самого Волошина нет ни одного — так же, как и книг с его надписями! Снова загадка...

Фонд М.Шкапской в РГАЛИ дает еще одно уточнение. Обычно утверждается, что после перехода Шкапской в 1925 г. «на очерковую работу» стихов она больше не писала. Однако в названном архиве хранятся ее стихотворения с 1903 по 1940 год! Другое дело, что от публикации их она сознательно, по-видимому, отказалась.

Так что приходится признать: религиозно-гуманистические мотивы творчества М.Шкапской (самая суть материнской ее души!) были подавлены революционно-преобразовательским мировоззрением, укоренившимся с юности.

Эпоха давила — надо было делать выбор. И Шкапская сделала — подобно Маяковскому, «наступив на горло собственной песне»...